

Пал

Записки очевидца

Горит, горит село родное, горит вся родина моя...

Русская народная песня

История эта повторяется у нас из года в год весной и осенью.

С древних времен, когда татары разоряли села и жгли города, на коренной Руси, отодвинувшейся за Оку, местность эту называли Степью или Полем. Две сотни лет лежали эти плодородные земли в великом запустении, и лишь конница татарская да редкая казачья станица пылили по набитым шляхам. Оберегая свои южные украины от крымцев, высылала Русь на Поле сторо́жи, веля им палить траву вдоль шляхов и сакм, чтобы нечем было кормить резвых татарских аргамаков. И шел огненный, всепожирающий Пал, раздуваемый суховеем по всему Полю, и усмирить и остановить его могли лишь ливень да реки.

С тех еще времен слышится жар напольного огня в местных названиях: река Пальна, село Пальна-Михайловка, деревня Палёнка. Полевой огонь и в названии моей деревни – Польская.

Сегодня, так же как и пятьсот лет назад, обезлюдела деревня, запустели, забурьянели плодородные саженные черноземы и все так же страшно бушуют на ней по весне палы. Не от прежних врагов, зримых, налетающих с юга горит земля, не трава под ними горит, кажется, будто нынешние палы выжигают душу и сердце. А в эту весну особенно...

Три или четыре раза за эту весну выбегали мы всеми остатками деревни, кто еще мог держать грабли и лопаты, и держали круговую оборону от огня. Страшен огонь, и все ему нипочем, даже через дорогу он ухитряется перебежать, а уж если подберется к деревенскому бурьяну, в котором прячутся старые соломенные риги, пуньки и сараи, – тут уж прощай деревня! Не успевали мы затушить огонь и успокоиться, как на следующее утро опять пахло гарью и ветер, дующий в сторону деревни, опять гнал огненную волну пала. По три-четыре часа бегали мы по пеплу и гари и, погасив последнюю искорку, затоптав последний, кажущийся совсем безобидным огонек, валились на землю, выбирая место повыше, с которого можно увидеть самый малый дымок. Вытягивали горячие ноги с дымящимися подошвами сапог, безразлично глядели на прогоревшую одежду и думали: не сам же берется огонь, кто-то ведь поджигает. Придумывали самую страшную кару тому неувловимому злоумышленнику, который способен, как с помощью волшебной палочки, снова и снова поджигать потушенное нами поле. И почему вдруг сразу на большом поле со всех сторон загораются валки? Отдохнув, умывшись и переодевшись, мы уезжали, довольные, что и на этот раз не пустили огонь в деревню

Деревня. Апрель. День первый.

Неделю не был в деревне. Иду аллеей. Слева выгоревшее поле, недавно еще золотившееся стерней. Чернеют на нем полосами сгоревшие прошлогодние валки соломы, чуть желтеет короткая стерня, спасшаяся в борозде. Летит, мечется на ветру пепел. Черна и березовая аллея с обуглившимися стволами. Одну из берез огонь свалил, спалил ветки. С тревогой гляжу вперед: не дошел ли огонь до деревни?

У колонки стоит Игнат.

– Горели, Игнат?

– Нет, Бог миловал. Я у сарая стоял, слышу дымом несеть. На дорогу вышел, а огонь – вон уж, к деревне подходить, да скоро так. Ну, говорю, сестрица, видно гореть нам. С поля пал идти. Взяли с ней грабли, пошли. А он до дороги дошел, а тут ветер развернулси и у сторону его увел. А так – чего бы мы с ней, старики, исделали, – да ничего. Сгорели бы и все. Он бы по садам прошел, а там кругом бурьян сухой. Пал деревню-то обошел да в сосенки подался. К вечеру он туда подошел. Ночью такое зарево стояло – смотреть было страшно. Он там два дня хозяйничал. Ветер его носить, он то в один край поля, то у другой.

И в этот раз уцелела деревня. Бог миловал, а люди? Кто же поджигает?..

– Да кто поджигает! – нервно стуча ребром по столу, говорит Матвей, у которого я сижу вечером. – Управляющий сам и поджигает! Десять лет поля пустовали, а теперь очухался. Говорили ведь ему – сожжешь Польскую. Ноль внимания! Мы уж и в район писали – и никакого толку! Им, паразитам, лень с осени солому убирать, прямо на поле бросают. А потом весной дождется как подсохнет – и поджигает. Поле освобождает, чтобы плуги не забивались. Дождется, когда ветер от его деревни дунет, – и жгет. А мы тут у Польской хоть подыхай: не сгорим живьем, так от дыма задохнемся. Ты знаешь, ведь такого не было даже во время войны. Да, жгли хлебушек в полях, чтобы врагу не достался. Да, горели танки на полях. Немец даже избы пожег: а что им не гореть, крыши-то на них все соломенные были. Дым, копоть, солнце дымом заволакивало. А такого запустения не было! Народ-то был! Видишь, вон там по берегу пруда ямы, не затянуло еще. Это землянки были. Землянок понарыли, печки в них поделали – кто зиму, кто две в них зимовали, пока построились. Земля-то наша здесь никого в обиду не дать, трудись только! Кирпич сделать – пожалуйста, вон она глина в овраге, крышу поставить – вот он, лес. Земля родит: черенок в нее сунь – лопата вырастет. И вся земля кругом была вспахана. Вся! Мужики все на фронте, а бабы и ребятишки на коровах да на себе всю землю вспахали. Ни клочка не пустовало. Ты можешь сейчас такое представить, когда вон они, поля, в рост бурьяном заросли, дерном взялись. Десять лет на нее крестьянин ногой не ступал, одни охотники из города вездеходами ее давят. Ни скотины, ни людей в деревне нет. Луга на старых покосах ветошью заросли, от кротовин на них просто живого места нет. Где там коса! Топором только теперь и выкорчевывать прежние покосы. Да что там покосы – они за деревней, а ты посмотри на выгон в деревне. Где он? Крапива одна, за ней теперь деревни не увидишь.

Ты думаешь раньше траву не палили? Как же, деды еще палили, чтобы с весны ветошь старую с полей убрать. Он, пал этот, по полю махом пробежит, землю только удобрит, она ж не только сгореть, – согреться только-только успеет. Ну так ведь деды-то, прежде чем поджигать, все опахивали: деревню, лес, скирды, все, что сберечь надо. А теперь что? Солому теперь с поля не убирают, – скотины-то почти нет! так она валками и копнами лежит, никому не нужная. Огонь от этих валков и копен такой сильный, что даже в деревне жар стоит за полкилометра. В войну, рассказывали, танки в копнах маскировали. Так если солома загоралась, даже танки оплавлялись, – вот какой жар стоял. А земля-то живая, каково ей в таком огне? Эхе-хе... вот она какая, жизнь наша.

Выходим на крыльцо.

– А ты куда собрался?

– Хочу в сосенки сходить, пару слег выбрать. Я еще по снегу там был, наваленных сосен полно. Верхушки кто-то на елки отпилил, остальное брошено, валяется.

Матвей машет рукой:

– И нечего ходить, там усе погорело.

– Неужели так сильно?

– Усе подчистую. Вот видишь? – Он показывает на совсем маленькие, по колено, пушистые сосенки, сидящие по краю усадьбы в свежих лунках, политых и даже унавоженных. – Четыре только и нашел живых. Дай, думаю пересажу. Им все равно не выжить там, если каждый год жечь будут. Песочку им подсыпал... Так что и не ходи, не трави душу.

День второй.

Есть на свете то, что не заменят ни деньги, ни достаток. Земля моя родная, на которой чем больше живешь, тем крепче вырастаешь всеми сердечными аортами, венами и капиллярами. Непокойно оно бывает, сердце, но все – и от близких-домашних, и от того, что власть творит, да и мало ли отчего... А покой, равновесие только от нее, родной земли. Много ли надо взамен раздражающих новостей, вбиваемых в голову бодрими торопливыми голосами. Вся эта отфильтрованная от жизни бесплодная масса новостей – для ума, но ничего для сердца. На этом сером глинистом грунте может стоять металлическая антенна, бетонный столб, но никогда не вырастет дерево. В деревне же, на земле, набухающей от тепла и влаги, – весна. И ничто не сможет остановить ее пробуждение.

Весна в этом году ранняя, в первых числах февраля мороз чуть прижал, а потом словно сбежал и больше не появлялся. Изредка только ночью чуть подкрадывался низиной, серебрил травы у прудов. Все дни были теплыми. В середине февраля тонкими балалаечными струнами звенели в воздухе жаворонки, уходили в талую с осени землю обильные снега, так и не наполнив пруды. Вечерами далеким цыганским табором бестолково галдят на прудах лягушки; сердито повторяет одну и ту же ноту селезень. В сумерках беспокойно пролетели над берегом две утиные пары и шумно сели на воду возле зарослей прошлогодного, сухого, как бумага, чакана. Негромко, но радостно-беспокойно, не веря еще в устоявшееся тепло, возятся в кроне старого клена птицы. А за прудами, в старом, брошенном саду на узловатых суках глохнущих от старости яблонь нежно, восторженно пробует голос соловей. Ночью, низко подставив темному небу тонкую скорлупку, обещающая ведро, изредка выглядывает из-за облаков молодой месяц.

Апрель, а тепло по-майски.

Тихо, чуть сбиваясь с одной ноты, свистит чайник на печи, негромко трещат в ней дрова. За оконным стеклом словно водяной рябью играет ветер молодой березовой листвой. За склонами оврага, бурыми от прошлогодней травы, грузно чернеет вспаханное поле, отороченное по краям распушившимися полосками молодых березовых посадок. Воздух сер и суетлив, горизонты дымны от едва пробивающегося сквозь тучи белесого солнца.

Все ждал этого дня, когда земля проявится настолько, чтобы можно было копать. Солнце и сухой ветер в считанные дни высушили лужи на дороге, и она просохла, даже пылит, но вспаханное под зиму поле еще сыро, вязнут в земле ноги. Утро прохладное, чуть не морозное, но солнце, выглянувшее из-за березовой рощи, и чистое небо подсказывают – день будет теплым. Я не выдержал, вышел в огород с лопатой, копнул – сыро, но копать можно. Определил клочок земли, чтобы хватило на посадку ведра ранней картошки, поплевал на ладони... На втором рядке снял куртку, а докапывал клин уже без рубахи. Проскороженная граблями, земля через полчаса высветлилась комочками подсыхающего чернозема, а посадка ведра ранней картошки – в удовольствие! – заняла и того меньше времени. Довольный, чуть усталый, взял ведра, пошел на деревню за водой.

У колонки Стариков разбрасывает лопатой кротовины, которые, словно оспины, пятнят выгон. Подошел. Поздоровались. Он поправил фуражку, махнул лопатой в сторону знаменских березок:

- Сичас малого, должно, повезуть хоронить у Знаменку...
- Какого?
- Да озерскова. Манюнинова сына, Ваську.
- Это который зимой пропал?

Манюню я не то чтобы знал, но, встречаясь в Озерках, здоровался. Была она очень приметной из-за своего роста. Маленькая, сухонькая старушка-подросток, она живет рядом с

Озерским медпунктом. Кажется, все напасти, какие есть на свете, – все на ее маленькую головушку. Двое сыновей, живших с ней, пропьянствовали в прошлом году и покос, и посадку картошки, и жару, и дождь; к белым снегам Манюня совсем запаниковала: корове зимовать, а сена ни клочка. Зная положение Манюни, Матвей, резавший скотину, чтобы перебраться в город, сказал:

– Сену заberi. Хоть всю. Хоть даром...

А запас сена у Матвея на два года. Но для пьянки нет непогоды, нет распутицы, и когда наконец ее сыновья хватились сена в начале декабря, снега навалило коню под брюхо, и добраться за три версты до Матвеева сена можно было лишь на лыжах и то с большим трудом. Да на себе много ли натаスカешь? Тут-то, в один из декабрьских вечеров, старший ее сын Володька пришел от соседа, которому помогал пилить дрова, выпил бутылку магарыча, лег спать на лавку да и не проснулся. Свезли его Манюня с Васькой в Знаменку на кладбище, и поехал Васька в район со справкой о смерти брата получать в собесе похоронную тысячу. И пропал... Всю зиму озерские бабы в ответ на мои приветствия здоровались и, всплескивая руками и качая головой, говорили:

– Ты слышал – у Манюни Васька пропал? Как уехал у Становую, так и не вернулся. Одново только похоронила, а другой пропал. Вот горя-то...

– Так где же он нашелся? – спросил я у Старикова.

– Ой да обсмееси! – говорит он весело, опираясь на черенок шахтерки, и мне после этой веселости кажется, что нашелся Васька и с деньгами, и чуть ли не в лотерею выиграл. А Стариков, улыбаясь во весь щербатый рот, продолжает: – Тут у малого одного, озерскова, лошадь пропала... как его звать-то... – он хмурит брови на мгновение, затем машет рукой, – а ну его! Все равно ты его не знаешь. Ну вот, пошел он по асвальту, а потом свернул у Кривой ложок.

– Это к Буниной?

– Да! Поле там у Буниной, а с краю Кривой ложок. Он в него спустился, смотреть, а на другом боку чтой-то ляжить. Он подходя – человек! И одежда, и усё, а голова... – Стариков помялся, ища слово, пошевелил пальцами, словно подзывая собаку, – головы-то щитай нету... толька... как его... Черт! Один череп, а усё остальное обглоданное. Вороны должно обклявали. А он-то, малай, видит, по одеже знакомый, вроде Васька. Он у деревню, милицию вызвали, та мать вызывает. А Манюня ни в какую, не пойду, говорит. А опознать-то надо?! Привезли ее, она по одеже его признала. Отвезли в морг у Елец. Нынче, может, хоронить повезут. Как они его брали, я и ня знаю, одни тряпки, он уж весь истлел, с декабря-то лежать! Шутка-ли! И ведь чуть только не дошел. И чего его туда, у сторону к Буниной понесло? Пьянай...

– Пьяный?

– Ну а как же! Он ведь уж из Становой ехал у в автобусе. Шохфер говорить, он у Петрищевой мене попросил: подожди чуток, я у магазин сбегая за бутылкой. Ну и побежал. А я, говорить, стоял-стоял, а его все нету и нету. Не буду же я за ним ходить, и уехал. А тот видно пешком пошел да чуть не дошел. Ему бы надо по асвальту идти, а он свернул, да в снегу и завяз, и бутылка его тут же рядом.

– Пустая?

– Да. Вот так вот чудок на донышке толька, да и то я думаю, уж это как снег таял, вода туды натякла. Усю допил, должно.

– И давно его нашли?

– Да учарась толька. А я гляжу, кто-то пошел на твой край, кто-то на огороде копается. А это ты. Сажал чего?

– Картошку раннюю посадил.

– Да-а, тепло нынче, весна ранняя, сажать можно, раз земля копается.

Стою, слушаю соседа, а в ушах стоит резанувшее: «Обсмеется». Смотрю на него – улыбается... Вот только вчера – смерть, так страшно объявившаяся матери, и совсем рядом, за тем полем, очерченном по горизонту розовеющими весенними сережками берез. А он искренне радуется. Он тоже смотрит туда, за поле. В душу, словно пылью, дунул сухой ветер...

– Да-а, – говорю, – матери-то каково, две смерти сразу.

Берусь за ведро, чтобы уйти, но Стариков откликается.

– А его, Ваську, должно, Господь наказал. Да и усю ихнюю семью. У ей, у Манюни, их же не двое сыновей. Ишо третий где-то трактористом работал. Задавили его, что-ли. Да две дочери. У одной вот так вот пальцы отрезало, – показывает на левой руке, черкнув пальцы по самую ладонь, – а другая дочь, – вот тут вот трактор с тележкой плотину переезжал, да тележка перевернулась – и вниз. Кто ушибся, кто руки-ноги переломал, а ее дочь придавило, и до больницы не довели. А сама Манюня уж с месяц как руку сломала, она ж маленькая, полезла печку закрывать, на тубаретку встала, потянулась, а тубаретка под ней подвихнулась. Она – вниз, да рукой об уголок железный на плите, и руку сломала. Ей гипс снимать, а у ней рука не работает, уся почернела да распухла. А у ней же корова, так ей люди доют. А Ваське тоже за его дела досталась смерть. У них же ишо бабка была старая, Манюнина мать стала-быть. Они ее, щитай, не кормили. Она аж кричала. Они ее и решили сдать у дом престарелых. Васька ее у машину посадил и повез, а по дороге машина встала, изломалась. Они и пошли пешком. Уж за Злобиной их машина догоняет. Васька бабку сажать, а она залезть у машину не может. Васька ее стал бить. У ей деньги были, рублей семдисит теми ишо. Он ее прибил и ушел. Ее потом нашли у дороги, голова проломлена. А он пил у Становой это время. Дали ему восемь лет. Он отсидел, да у столовую залез, какие-то консервы украл, ему еще три года дали. Так он как второй раз из тюрьмы пришел, волосы отпустил, как у девки. Ево так и прозвали «Василиса». Вот ведь смехота, обсмеется.

Стариков, придерживая фуражку, тряхнул головой и опять засмеялся.

На краю деревни загудела машина, и, высоко пыля, на дороге показался бортовой КамАЗ. В кузове, мотаясь на кочках, сидели четыре мужика. Через серую решетку нарощенных бортов в стене пыли лица их были неразличимы, мелькали лишь белые повязки на правых рукавах рубашек. Мы смотрели, как машина, пробежав по деревне, спустилась в овраг. Через минуту она вынырнула и стала подниматься по другому склону. На несколько мгновений нам было видно дно кузова, на котором между мужиками, раскинувшими по бортам руки, лежал красный гроб. На подъеме водитель прибавил газу, облако пыли поднялось выше и повисло в березовой аллее.

Я постоял и направился к дому.

– Что, пошел? – спросил Стариков.

Я промолчал.

– Ну, в час добрай...

Я медленно шел по дороге, зачем-то прислушиваясь, не слышно ли машины. И вдруг подумал: а почему же одни мужики были в кузове? Остановился и глядел на все еще стоявшее за березами, чуть подтаявшее облако пыли, вспоминая машину, качающихся на кочках мужиков, белые повязки и пустое место рядом с водителем. Пустое? Нет, она, конечно, сидела там, рядом, лишь черный платок и маленький, как у ребенка, рост делали Манюню и ее горе невидимыми.

День третий.

Вечером вышли с соседом на край деревни смотреть парад планет. Небо без ясного месяца, планеты вразбежку. Стоим под кленами у крайней полуразрушенной избы. Тишина... Но со всех сторон под ногами шуршит сухая прошлогодняя листва. Точно дождь идет, тихий, однообразный. В деревне повсюду встречаешься с жизнью, которой в городе не увидишь: мелькнет через дорогу мышь, переваливаясь, просеменит в сумерках по двору еж, выбежит из сарая и, остановившись на мгновение, юркнет в щель между камнями ласка. Поначалу кажется, что и сейчас в тишине шуршит еж. Но звуки не прекращаются и слышны со всех сторон. Дождь?.. Протягиваю руки, жду... Ни капли. И вдруг понимаю и тихо спрашиваю:

– Володя... А ты слышал, как растет трава?

– Трава?

– Да... Послушай.

Он замер. Замолчал. И вдруг чувствую в темноте, как он весь напрягся, осознавая и еще не веря в свою догадку.

– Да ты что?! – Еще помолчал и радостно вскрикнул: – А точно! – Обернулся ко мне. – А ты знаешь, я уже сто раз слышал, как говорили: «Слышно, как трава растет». А вот самому – в первый раз.

Он замолчал. Вокруг опять тихо зашумело. Растет трава, идет апрель, небо открылось, и звезды были ясны. И все это – вот оно, не из книг, не со слов.

Трава... Растет... Да-а-а. Хорошо, если бы и дети наши были сейчас с нами.

День четвертый.

Наутро едем в усадьбу Толстого Никольское-Вяземское под Мценском, на Бежин луг, в Орел, Чернь.

Дорога, дорога. Небо высокое, дни солнечные, прозрачные. На первой половине дороги, что ближе к нашим местам, – все та же картина: черные от гари поля и бесчисленное множество кротовин на них. Эти курганчики делают поля похожими на кладбища. Ближе к Орлу поля повеселели, радуют глаз бархатные зеленыя озимых. Дивное время – эта пора. Весна негромко, но упорно подгоняемая уже совсем майским теплом, наполняет все, каждый день добавляет новые краски, звуки, запахи.

Спустя три дня возвращаемся домой. На Симферопольской трассе, подъезжая к Мценску, увидели с запада тучу, двигавшуюся со скоростью машины. Минут двадцать наблюдали удивительное, невиданное нами зрелище – зеленые клубы дыма, взметывающейся пыльцы с берез, только-только выпустивших юные, робкие листочки. Этот зеленый пожар, всплески зеленого дыма, поднимающегося из березняков, разбросанных до горизонта, заполнили все вокруг: поля, пестрые стены лесов и само небо. Весь мир вокруг видится словно через светло-зеленое стекло. Вспомнились вечные некрасовские строки: «Идет, гудёт зеленый шум».

За Мценском березовые рощи отступили от дороги, зеленый дым растаял и открылся простор за Зушей, за оврагами, стекающимися к ней. За каждым поворотом открывались все новые дали, до самого дальнего горизонта, у которого, кажется, видна наша деревня.

Подъезжая к ней, мы увидели табор. Прямо посреди дороги стояла колхозная летучка, к ней прицеплена полевая кухня, из кабины выглядывал шофер, а на подножке сидел и курил управляющий отделением. Вокруг прямо на земле сидели с десяток пацанов с закопченными лицами и ели кашу из алюминиевых мисок. Были они из той же деревни, где жил управляющий. Что они делали здесь, было непонятно. Ни трактора, ни сеялки рядом не было, но какую-то работу они явно выполняли. Не грибы же они собирали! Пропуская нас, водитель сдал назад, и мы, медленно объезжая этот странный табор, поинтересовались:

– Сеем-пашем?

Пацаненок лет восьми облизал ложку, погремел коробком со спичками:

– Не-а, палим. По десятке в день плотют.

Управляющий безразлично смотрел на нас.

День пятый.

Не утерпел, пошел в сосенки, надеясь, что авось не так уж все погорело, как по дороге в деревню. Сразу за огородами от выгоревших дебрей густой межевой поросли зачернели гарью поля. Так я и пошел не светлеющей дорогой, а черным полем. Везде проник, все охватил жадный пал. Неужто впрямь пыхнула по России война, которая давно и долго тлеет, раздуваемая суетными шепелявыми радиоголосами и лощеными самодовольными лицами с экранов, нагло, по-хозяйски глядящими на нас и говорящими о ненужности пустующей земли. И как же им не верить, если видел сам на днях поля России от Мценска до Ельца. От их вида холодеет сердце: ни пяди без мышиных нор, сплошь кротовьи курганы, холмы муравейников, бурьян, и везде – дым, огонь, спаленная дочерна земля.

Издалека на зеленом горбе соснового колка бурели пятна пожара. Поле, которым я шел, было давно заброшенным и забурияневшим, черным от пала, с мелкими желтыми комельками прошлогодней травы; оно чуть зеленело ниточками молодой травки, успевшей после пала проклюнуться сквозь пепел и угли, поднимающей беспомощные белесые петельки стебельков.

В самом колке земля была бархатно-черной; хвойная подстилка на ней выгорела дотла, повсюду чернели головешки сгоревших суков и спиленных стволов. Лишь стрелки дикой малины словно покрылись темной старой олифой, но выстояли, переживая огненный недуг, набирали силу для оживающих почек. Нижние суки сосен на высоте двух человеческих ростов выгорели, хвоя на них пожелтела. Хуже пришлось молодым сосенкам, росшим своим молодым леском сразу через дорогу от старого леса. В отличие от этого старого леса, саженного, был он самосевным, выросшим из семян шишек, растасканных птицами. Еще по осени густел он плотной темно-зеленой чащей, под которой прятались семьи липких маслят. Теперь он желтел спаленной хвоей, и было странно видеть эту желтизну, словно у октябрьских берез. А в глубине чащи, попавшей в самое пекло, стояли обнаженные до самых верхушек черные стволы сосен, сохранивших все до единой мелкой веточки, но лишенные привычных зеленых иголок. Голые, жалкие, со вздувшейся черным панцирем корой. А на полянках между ними спекшиеся, похожие на паленую свиную шкуру, маслята среди травы, седой от пепла, так и оставшейся лежать черными густыми космами.

Повсюду в воздухе запах, как в доме после потушенного пожара, в нем слышится сырость земли, головешек и... чуть-чуть живой запах смолы, движущейся где-то в заболони обугленных стволов.

Почти под каждой сосной на обгоревшей траве следы лисьего помета. Зигзаги оплывших окопов, схоронивших от огня желтеющую по дну траву, пересекают молодой сосняк, выходят на его край и убегают дальше в спаленное поле, робко зеленеющее молодой травой. Но с каждым днем черного цвета становится меньше, и к концу мая лишь выгоревшая дочерна середина подлеска и желтые подпалины на крайних сосенках будут напоминать о пожаре.

Обойдя колок и наблюдая в нем везде одну и ту же картину пожара, я вышел к широкому оврагу и пошел вдоль него. На другой стороне, спускаясь в отрожек оврага, рос молодой березовый лес. Серые дубы, стоящие у стены этого леса, робко и нежно, по-юношески наливающегося молодой зеленью, кажутся мертвыми. Но нет, они не торопясь ждут устойчивого тепла, не доверяясь ранней весне, и к Егорию-вешнему распушатся молодой зеленью. С нижней стороны сосняка на склоне оврага совсем молодая редкая поросль. Две маленькие, по пояс, сосенки робко жмутся друг к другу и обнимаются ветками с обгоревшей рыжей хвоей, весело зеленеют нетронутыми верхушками, а обгоревшая у оснований и отвалившаяся кора на ширину ладони обнажила желтую наготу заболони; на ней выступили и застыли светлые прозрачные слезы смолы. Я тронул одну слезинку-смолку, и она прорвалась,

словно горе деревца, легко стекла на палец юная прозрачная слеза. Потер ее пальцами, ощущая клейкую, упорную силу жизни раненых молодых деревьев, их яркий солнечный запах.

Продолжая путь, я не сразу заметил, что ниже по склону, в сотне шагов бежит в сторону деревни лисица. Грязно-рыжая, цвета опаленной хвои, она обегала свои владения, петляла от куста к кусту, от кочки к кочке. Иногда останавливалась, обнюхивала кочку и, оборачиваясь, косилась на меня, но не торопилась убежать, видя, что у меня в руках ничего нет. Так мы и шли к деревне, я не таясь впереди, и чуть сзади — она, труся и останавливаясь по своим делам. Минут через десять она забежала за камни старой каменоломни, и я потерял ее из виду. Когда подошел к камням, оставленным древним ледником, с разбросанными вокруг выветренными костями, то снова увидел горбящуюся спину лисы у глубокой узкой промоины. С минуту лиса бежала вдоль промоины, а затем ее хвост мелькнул за кустом шиповника, росшего у края, и она пропала.

С косогора, по которому я подходил к деревне, завиднелась березовая аллея и светлая полоска дороги, поднимавшейся на склон по размытым и растерзанным машинами глубоким колеям, больше похожими на овражки. И аллея, и эта старая дорога вели к Знаменке, где был когда-то приход всей нашей округи. До нее совсем близко, пара километров, но земля ныне поделена по оврагу на два района. Те умные головы, что делили землю единой прежде волости, о приходах не думали. Оттого не стали следить и за дорогой, замощенной когда-то по обоим краям оврага булыжником, и за дубовым мостиком. Сгнил и провалился средний пролет моста, и редкие теперь машины запетляли по дну оврага, ища надежной опоры среди мочажин и выезда поположе.

Нет теперь по ту сторону оврага ни колхозной конторы, ни райцентра, оттого нет и дороги. И если увидишь сегодня пылящую в сторону Знаменки машину, то знаешь — это на кладбище. Прильнешь к окну и со вздохом обернешься: опять кого-то хоронят, могилку копать поехали. Кто же следующий?

Прежде губернии с уездами, волостями и приходами-погостами, теперь — области с районами и сельсоветами. И все, Россия, в тебе перекроено по живому. Не об этом ли говорят заросшие, заброшенные дороги на границах перемежеванных областей-районов. И не живые дела едины сегодня людей по разные стороны оврага, а кладбище.

Май. День шестой.

Вот и еще раз тяжело пропылил по деревенской дороге в сторону Знаменского кладбища серый бортовой КамАЗ. Повезли хоронить Лешу, озерского мужика с вечно блаженно-простым, добрым лицом. Плотнo прижимаясь к бортам, сидела на лавках его родня. Пять легковых машин медленно, осторожно пылили следом.

Совсем недавно, месяц назад, по последнему снегу делали мы с Лешей и соседом Федорычем свет на нашей стороне. Перетягивали провода, оборванные упавшим сухим тополем, а потом сидели вместе за столом, пили выставленную Федорычем бутылку, слушали Лешины рассказы об озерских ухарях. Простые, наивные, искренние... Три дня его никто не видел в Озерках. На двери его дома снаружи – навесной замок. Жил он один, и когда его сестра открыла замок и вошла в дом, он был уже мертв. Форточки, окна – все было закрыто.

С каким-то тупым безразличием взялась смерть прибирать людей. Подряд, неожиданно, коварно. Неожиданно оттого, что не больных, не старых, выбрала она. Может, кто-то в подручных ходит у нее вокруг Озерок, в которых рождение одного ребенка в пять лет теперь неслыханное событие, редкость, а вот смертей за это время наберется с десяток.

Царствие же тебе, Леша, небесное. Видно, Богу ты угоден, и выделил Он тебя твоим светлым блаженством.

День седьмой. Пасха.

– Не надо, не ездь в Пасху на кладбище, – успокаивал, предостерегал меня Матвей. – Не мешай. У них ведь там тоже сегодня праздник.

Нет, прошелся по палу, зайду и на кладбище. От поля оно кажется таким же лесом, отороченным акатником и сиренью.

За кладбищенским валом стоит сумрак. Даже ветер, добегая до кладбищенской рощи, здесь не суетится, а осторожно ищет себе пути между деревьями. Сумрачно, прохладно, тихо. На могилках знакомые деревенские фамилии: Корочкины, Финогеевы, Пищулины. Подгнивший деревянный крест заботливо уложен на подправленный холмик, обсыпанный вокруг красным песком. У почерневшего, потрескавшегося креста чуть шевелятся под ветром воткнутые в холмик веселые казенно-пластмассовые цветы. По всем могилкам, обсыпанным песком и освеженным неизменной голубой краской, цветом Царствия небесного, лежат крашенные яички, конфеты и печенье, осьмушки пасхальных куличей с крапинками изюма.

Подгнившие крестики тихо лежат на могилках, раскинув руки-перекладины, словно плывут.

На редких могилах надгробия – казенный бетон или железо. Больше – просто земляные холмики. И все они на удивление длинные и пологи, будто лежат в них люди большие, спокойные.

Среди старых оплывших могил – высокий крутой холм чернозема. Это вчерашняя могила Алеши с маленькими, почти домашними веночками и лентами-посвящениями: «Дорогому брату Алексею», «Дорогому дяде Леше», «Брату», «Брату», еще раз «Брату», – от Вали, Тамары... Шесть братьев и сестер у Леши, – ото всех по венку и один деревянный крестик с повязанным на нем белым платочком с голубой каймой.

А вот совсем забытая могила. Без оградки. Вместо креста – ветхий дубовый столбик с круглой потрескавшейся головкой, как у деревянной куклы. На месте перекладины – вырубленная топором выемка с оставшимися от таблички двумя ржавыми гвоздями и темные следы осыпавшейся зеленой краски. И на этой могиле, обозначенной лишь столбиком и оплывшим холмиком, – кусочки хлеба и конфетка – разделенная трапеза с соседней могилки, ухоженной, огороженной крашеной металлической оградкой. Внутри ее два деревянных креста. Читаю: Киреевы Иван Степанович и Мария Семеновна. Муж и жена. Загорелые крестьянские лица на двух эмалированных овалах. Оба прожили почти восемьдесят лет и призваны Богом с разницей в один год. На подножии их каменного памятника – тарелка, полная яиц. Под ее портретом конфеты и печенье, под его – граненая стопка, налитая до краев, и яйцо. У него твердый, пытливый взгляд, у нее – едва скрытая улыбка, стеснительный взгляд.

За темным занавесом плотной стены сухого акатника, отделяющего кладбище от поля, шум и движение: погоня стада коров и овец, шелкая бичом, проехал на светящейся под солнцем лошади пастух, такой яркий, цветной. Черная собака, забежав на кладбище, озираясь, бежит между могил, подбегает положенные на них печенье и хлеб.

Я вышел из полумрака кладбищенской рощи и прищурился: по краю вала ветер треплет на солнце молодую зелень сирени с распутившимися гроздьями цветов. Шумит, трепещет кленовая крона, вьется-заливается жаворонок, и над вспаханном полем дрожит, словно в прозрачных струях чистой воды, в зыбком мареве яркая зелень березового леса.

Место у кладбища высокое, на самом водоразделе двух больших рек. Далеко видно от кладбища. Светлые березовые аллеи вдоль разбегающихся от него во все стороны дорог, отороченные чернолесьем овраги. Из родников-колыбелек во многих таких оврагах, верхах и отвершках неприметно собираются воды сначала в малые ручейки, потом в речушки, те

сбегаются в Мечу и Сосну, от них Дон из неприметной речки, каких множество, становится большой рекой. И вокруг, насколько видно, по широким полям черная гарь да сизый дым.

Земля родная! Сколько будут жечь на тебе одежды с вышитыми на них узорами и кружевами полей, рек и лесов, словно родным материнским потом пахнущие сырой землей и душистыми травами. До каких же пор будут смеяться, юморить над поруганной твоей наготой, крича во все уши и подталкивая: «Выйди, посмейся и ты! Вот же, все смеются над ней, – и те, что крали ночным временем бусы и кружева твоих красот, и другой, что рвал белым днем твои одежды, и соседняя деревня, что жгла их!..» Да неужели... Неужели это все мы творим, слушая эти голоса?.. Прислушайтесь же к тишине... И в ней непременно услышите негромкое биение родного материнского сердца и тихий, как колыбельная песня, голос Родины.

Устали ноги; нагладевшись всего, изболелась душа. Я возвращался к деревне и хотелось только прийти домой, лечь и закрыть глаза. И я уже собрался свернуть на дорогу, обходившую деревню за огородами, но услышал стук и увидел, как на краю своего двора Матвей расправлял куски старой жести. Стук получался вызывающе веселым. Он нарочно примостился на краю двора, чтобы не пропустить меня и за делом дожидаться моих новостей о том, как оживал лес после пала. И я повернул к нему. Увидев меня издалека, он отложил молоток, прислонившись к верстаку, ждал. Медленно идя мимо кленов, росших по краю его усадьбы, я услышал идущий от них знакомый с детства свежий, клейкий запах. Наклонился – земля под деревьями желтела множеством липких узких лодочек-скорлупок. Поднял одну, размял пальцами. Матвей, с улыбкой наблюдая за мной, издалека спросил:

– Что, пахнет?

– Ага. Чем-то сладким... Вроде медом.

– Правильно. Бражкой медовой. Ты его, этот запах, не забудь, а осенью зайдешь, за медовухой вспомним.

– Спасибо, Матвей Иванович.

– Ты куда летишь? Христос воскрес!

– Воистину!

– Ну вот, и пойдем в честь праздничка прошлогодней медовушки дернем, я уж тебя заждался. Пойдем-пойдем.

Проходя мимо верстака, я показываю ему на жечь:

– Крышки на улья делаешь?

Матвей кивает.

– А ничего – в праздник-то работать?

– Не работать – это точно грех, а работать никогда не грех.

Июнь. День восьмой

Уют. Глупо связывать его со стерильной чистотой, модной мебелью, современными удобствами. Кафель пола и стен, полировка столешниц не скоро впитают жизнь, ее запахи и события. Среди них хочется ходить прямо, говорить слишком правильно, предаваться чистой неге в глубине мягких роскошных кресел. А для меня вдруг ясно и, кажется, навсегда определилось понятие уюта и домашности здесь, в маленьком побеленном домике среди яблонь, в комнате со щелястыми полом и потолком, неровно оштукатуренными стенами, заглаженными многими слоями побелки, и такой же печью со щелями, наскоро замазанными коричневыми глиняными затирками, делающими ее похожей на географическую карту. Деревянные полаты у печи, кровать со скрипучей зыбкой сеткой, на которой любят прыгать мои девчонки, столы: один обеденный, накрытый клеенкой, другой – письменный с холстинковой скатертью. Три окошка с легкими прозрачными занавесками, через которые, как сквозь легкий дым, видны березы у калитки и чуть подрагивающая под дождем трава. А еще что добавляет уюта дому, ровный шум долгого дождя из обложной тучи и тепло печки с вьевшимся во все сладковатым запахом дыма да чуть-чуть сена, свисающего с чердачного лаза и заносимого на ногах из сеней. Дождь, запах дыма и сена, матовый свет из окошек – все вне времени, все вечно, способно вернуть человеку его первородные чувства, подсказать несуетный путь к себе самому. К правде. К природе, к Богу. Осознавая это, притаится сердце и, поняв, вдруг тронется, ровно затолкает обновленную этим осознанием кровь.